

Занесено с любовью. Записки пекарни и пышки Пышки

Андрей Взйл

Андрей Вэйл

Занесено с любовью. Записки пекарни и пышки Пышки

https://litres.ru/75006222
SelfPub; 2026

Аннотация

В каждом доме есть дверь, о которой молчат все, кто в нём живёт. Иногда молчание длится сорок лет. Иногда — тысячелетие.

Эта книга начинается не с героя и не с беды. Она начинается с запаха — того, который нельзя описать тому, кто его не знал, и невозможно забыть тому, кто знал.

Здесь всё пахнет: письма, дороги, тишина за полуночной дверью, даже то, что никогда не было живым, — и именно по запаху читатель узнает, кто из героев ещё не сдался.

Четырнадцать томов, две тысячи невостребованных ночей, одна подпись, которую ставили к каждой записи, не задумываясь, что она значит. И вопрос, на который у этого дома был только один ответ, хотя никто не решился его задать: что становится с тем, кто слишком долго ждёт?

Ответ занесён. С любовью.

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ. ЗАПАХ СУББОТЫ 4
Глава 2. Скелет с высшим образованием 17
Глава 3. Некромант, который боялся зеркал 23
Глава 4. Правила дома 31
Глава 5. Дань пирожками 39
Глава 6. Лиса-почтальон и цена письма 46
Конец ознакомительного фрагмента. 74

Андрей Вэйл
Занесено с любовью. Записки пекарни и пышки Пышки

КНИГА ПЕРВАЯ. ЗАПАХ СУББОТЫ

Пролог. Запах, который помнят стены

про то, что было за сорок лет до пирожков, и почему хлеб лучше запрета

В Ирмалионе верили, что Границу можно почуять по запаху. Жители деревни Мирок говорили: «Если хлеб пахнет грозой и сиренью — не ешь его, это хлеб из-за Границы». И в этом был единственный случай, когда деревенская мудрость совпадала с правдой, потому что Граница действительно пахла — но не хлебом. Грозой. Сиренью. И ещё — старой библиотекой, в которой давно никто не открывал окно.

Граница между миром живых и миром Ирмалиона была не стеной, не рекой и не туманом. Она была печью. Древней, огромной, вросшей в основание мира так, что никто не пом-

нил, кто её сложил. Она топилась сама — громом с одной стороны и лунным светом с другой — и раз в несколько десятилетий её дверца приоткрывалась. Всё, что стояло рядом в этот момент, перелетало. Иногда это были листья. Иногда — птицы. Один раз — целая мельница с мельником, который с тех пор проживал в столице и судился с городом за статус беженца из собственной мельницы.

А иногда — человек.

Люди об этом не знали. Зато знала Башня.

Башня стояла на холме за Мироком с тех пор, как существуют счёты. Она была из чёрного камня, с окнами, как глаза совы, и помнила всех своих владельцев: алхимика, который взорвался от собственной гордости; ведьму, которая ушла жить в лес, оставив башне записку «Прости, но здесь слишком темно даже для меня»; и наконец — род Вечеровых, который не снимал с неё прописи уже семь поколений.

Башня не любила пустоту. Поэтому когда в тысяча четыреста двенадцатом году последний из Вечеровых запер дверь на засов, вычеркнул слово «люди» из своей жизни и уехал в деревню за солью — а вернулся уже навсегда, — башня сделала всё, чтобы ждать. Она приглушала скрипы. Она грела подвал. Она держала в одной из банок, на самой верхней полке, самый редкий ингредиент из всех, какие существуют в некромантии: терпение.

Сорок лет башня ждала.

За эти сорок лет на холме успело произойти следующее.

Некромант Мортимер Вечеров поставил у порога первый тайный каравай — и тут же забрал его обратно, потому что решил, что хлеб «недостаточно хорош для смертных». Второй каравай простоял до рассвета, и его взял скелет-домоправитель Прохор Второй, который всю ночь писал и переписывал записку и в конце концов оставил только две строки: «Хлеб поел. Воздух разрядился». Третий каравай взяла лиса-почтальон Глафира, съела его на месте, заплакала — у призраков это выглядит как утяжеляющийся воздух, — и с тех пор всегда шла мимо башни самой дальней дорогой: по запаху, как по адресу.

Деревня Мирок за эти сорок лет стала деревней, которая боится. Не башни — башни они боялись и раньше, это традиция. Они стали бояться тишины после полуночи, потому что в эту тишину кто-то выносил хлеб, и запах этого хлеба — тёплый, дрожжевой, самый честный на свете — будил в каждом нечто, что деревня договорилась называть «тоска по неизвестно чему». Сорок лет никто не признавался, что выходил за этим хлебом. Прохор Второй вёл учёт: за сорок лет — две тысячи сто шестьдесят три каравая. Из них им было съедено: один (им же). Остальные две тысячи сто шестьдесят два исчезали к рассвету. Всегда. Даже в грозу. Даже в ту ночь, когда по деревне пронесло ветром.

А лорд Пепел, Террор Округа, за эти же сорок лет приходил собирать дань четыре раза в год, ровно, как метроном. Никто никогда не платил. Никто никогда его не прогонял.

Он сидел на завалинке у трактира, грея руки над чужим дымом из трубы, и уходил до рассвета — до того, как башня начнёт пахнуть хлебом, потому что и он знал: если понюхаешь этот запах, Тьма перестанет быть Тьмой. Сорок лет он держался. Он был последним, кто держался.

Так они все жили — каждый за своей дверью: некромант за засовом, деревня за страхом, лорд Пепел за плащом, Совет Теней за протоколом, а Граница — за своей древней печью, в которой тихо тлел гром.

И на двадцать восьмое мая, в пять вечера, по ту сторону Границы, на Садовой улице мира живых, женщина пышной калибровки открыла духовку, в которой лежали пирожки с повидлом.

Печь Границы почувствовала это. Дверца её приоткрылась — на ширину хлебного мякиша.

И потянуло наружу — грозой, сиренью, старой библиотекой.

Действующие лица и исполнители

составлено Прохором Вторым по итогам года; прошу читать, представляя каждого в запахах — так точнее

ВЕРА КУЛИКОВА — пекарь из мира живых, 28 лет, прибыла через духовку с пирожками с повидлом и табуретом (табурет — см. отдельную строку, он заслужил). Говорит с тестом, поёт по субботам, наглость — врождённая, «как тесто у бабушки: без дрожжей, зато всегда под рукой». Сняла

проклятие не магией, а тем, что не убежала. Носит: фартук (потом — официальный, с лентой), занавеску бледно-зелёную в полоску (потом — как плащ, потом — как плед). Не боится: некромантов, Советов Теней, драконов и невежливости в очереди. Боится: единственное, за книгу, — что тесто не поднимется. Не поднялось.

МОРТИМЕР ВЕЧЕРОВ — некромант, сорок лет, семь поколений Вечеровых на одном холме. Сорок лет пёк хлеб тайно по воскресеньям, потому что «печь не боится моего лица». Проклятие «Плащ Признания»: лицо показывает людям то, чего они в нём боятся. Снято на холме с двумя лунами — поцелуем и тем, что рядом кто-то остался. Улыбка: кривая, неловкая, с испугом на собственном лице — и отныне свободная. Говорит редко и весомо; длиннейшая его речь за книгу — свадебная, про хлеб вместо клятвы. Хранит: посох, обруч из чёрного золота и одиннадцать тысяч сгоревших свечей — в памяти, не в сараях.

ПРОХОР ВТОРОЙ — скелет, домоправитель, летописец рода Вечеровых, четыреста лет службы. Вёл четырнадцать томов погоды и три тома хозяина; погода выигрывала по объёму до прошлого года. Слабость: комплименты скулам (уступает со второй попытки, см. том седьмой). Лучшее место в книге — не признано им самим: «Я — не костяной. Я — дом». Подпись под всеми записями: «Занесено с любовью». Читатель этой книги, собственно, читал его дневник — он просто вежливо назвал это романом.

АЛАРИК ВЕЧЕРОВ — отец Мортимера. Ушёл за солью в тысяча четыреста двенадцатом году «на пять минут» — вернулся через сорок лет с пустой сумкой, из другого мира, куда его перебросила печь Границы. Двадцать лет кричал в колодцы. Выкопал там двадцать колодцев — и все они оказались не колодцами, а криками. Смеётся криво и с удивлением — наследственное, сын проверял.

МАТЬ МОРТИМЕРА — призрак, умерла, когда сыну было девять лет. Голос — с мятной ноткой, слышен только тем, кого любит. Двадцать лет слушала крики мужа из колодцев и отпустила обоим вину, потому что «болото не вина, дверь не вина». С скучает запахом — это, по её словам, единственный честный способ.

ГАЛИНА ПЕТРОВНА — мать Веры, пекарь с сорокалетним стажем, Садовая, восемь. Перешла Границу со скалкой под мышкой и тапочками. Протестировала зятя тестом — выдержал. Усыновила его со словами «будешь моим сыном, с завтрашнего дня» — и некромант, двадцать лет не слышавший слова «мама», ответил «хорошо, мама», от чего зажглись свечи (физика эфира требует пересмотра).

ЫШ — мышь-призрак, сорок лет не знавшая, что умерла («мать обещала вернуться в четыре, уже почти четыре»). Хранила пропавший мёд «для пчёл» — мёд, по её теории, не просвечивает, потому что мёд и любовь — исключения из правил призрачности. Принята в пекарню подметать пыль. Лучшие у неё — призрачные, неделимые, лучшие в Ирма-

лионе.

ГЛАФИРА — лиса-почтальон. Тариф: «полкаравая за письмо, каравай за плохие новости». Умерла в Гнилом броде с недоставленным письмом — тем самым, сорокалетним, — и не ушла на покой, потому что недоставленное письмо держит. Письмо доставлено. Подробности — в её собственной почтовой книге, где лучшая запись: «Это моё лучшее письмо. Оно о тебе».

ЛОРД ПЕПЕЛ — Тьма в поисках тепла. Приходил вонючим дымом, держался от пекарни подальше сорок лет, думая, что обходит опасность, — на деле обходил своё спасение. Кочерга первая — посох, кочерга вторая — сердце; сам путает и оставил как есть, потому что «так честнее». Дегустирует по средам.

ИГНАТИЙ — дракон, триста лет, сосед с восточного утёса. Сжёг не то (тортик), не умел извиняться (драконья школа не учит предметам «торты» и «извинения»), научился — с помощью торта, который нельзя сжечь. Подарил на свадьбу золотой зуб и не жалеет: «драконы дарят золото, а у меня его полно». Плачет «от сухости глазниц» — конструктивная особенность, в реестре числится отдельно.

ПЕРСИВАЛЬ — грифон, обиженный сосед, пёк бабушке тортик на годовщину сорок лет ожидания. Помирился с драконом объятием размером с площадь. Золото ест, поэтому драконьи золотые подарки ему не положены — он считает это правильным.

БАБУШКА ПЕРСИВАЛЯ — грифониха, двести лет, «помнит вкус событий, которых не было». Дождалась, пока внуки помирятся, — «хоть в моё столетие». Не появлялась в сюжете без причины появлялась с командованием.

ФИЛИПП ТОЩИЙ — юрист Совета Теней. Умер на кухне, не попробовав тёплого хлеба; сорок лет не помнил мать, но помнил запах. Первый, кто снял возражения под влиянием пирожка. Рецептов записал: один, но тщательно.

АНСЕЛЬМ ТИХИЙ — старейшина Совета Теней, умер двести лет назад. Голос такой, что свечи зажигаются. Признал брак законным, пекарню — домом («нейтрально — это когда никто не рад»), а себе — память о запахе из детства. Ушёл последним и постоял на пороге — так стоят те, кто вспомнил дом.

РЕГУЛА НЕПРЕКЛОННАЯ — протоколистка, умерла от голода в осаждённом городе, четыреста лет голосовала против запаха хлеба — против единственного, чего ей не хватило. Сломалась на честности (статья первая, параграф первый), разломила каравай и голосует теперь зелёной луной — «да, и пусть это будет навсегда». Заказывает пирожков «на протокол» больше всех.

ХАМЕЛЕОН-МЭР — мэр Везегарда, цвет — по настроению, протокол — по цвету. Венчал семью в цвете «восторг» (голубой с розовым), пожертвовав последнюю печать такого цвета. «Иностранка прибыла в Везегард через духовку с пирожками» — его формулировка, занесена в летопись.

ТЕОДОР ОСТЫВШИЙ — директор школы, умер в должности завхоза и держит её вертикальнее гроба. Пока эта книга не ставила его в центр — но журнал он уже завёл трёхколоночный, а это, по меркам протокола, поступок.

МАТУШКА КАНВА — вязание и предвидение. Связала носки для некроманта («слышала я, ты сорок лет в холодных») и носки на свадьбу — в ночь, когда на холме «случается история», старухи вяжут точнее врачей. Говорит «девочка» всем, кому меньше восьмидесяти.

БРОНТЕ — трактирщик из Мирока, борода с тремя мышами и одной идеей. Мёд — за счёт заведения, обе половины. Опрос по делу пропавшего мёда провёл со слезами коллективными — борода сочувствовала вместе с ним.

ПОЛУПРИЗРАКИ — счёт ведётся; учатся наполовину, спорят о том, какой половине ставить оценки. Отличные носильщики печей и плетельщики корзин: руки полупрозрачные, а плетение — прозрачное ремесло.

КОЗА — независимая позиция, банты по праздникам, вшла в историю трижды: села отдельно на пиру, уснула на ступнях скелета («первый сон при мне за четыреста лет, причём не мой») и блеет подписи под договорами. О её истинной роли пока никому не известно — включая, кажется, саму козу, которая вежливо молчит.

ТАБУРЕТ — прибыл из мира живых вместе с Верой, не отдан обратно, следует за ней повсюду. Единственный персонаж книги, у которого нет реплик и нет страхов. Педант, на-

дёжный, «не комментирую», — формулировка Прохора Второго.

ПЕЧЬ ГРАНИЦЫ — древнейшая, вросла в основание мира. Держала дверь тысячелетие, ждала не героя, а запах. Дала договор: «Пеките — и дверь открыта». Дневник пишет жаром на внутренней стороне дверцы; застенчива; просит никому не говорить, что говорит. Говорит.

ДУХ ВЕЗЕГАРДА — переставляет улицы по утрам, уважает таблички, по-своему. Рекорд неизвестен ему и известен всем, зазнается, если узнает.

МАРТА АГАФЬЕВНА ВЕЧЕРОВА-КУЛИКОВА *(Вечерова-Куликова)* — новорождённая, одна запись в реестре: «Первый человек, у которого вся жизнь впереди». Пахнет сиренью. Открыла дверцу гуканьем. Про неё — вторая книга.

И ВСЕ ПОЛУПРИЗРАКИ, МЫШИ, ПЧЁЛЫ, ЯБЛОКИ (двадцать три штуки, подобраны, ни одно не брошено), КОЛОДЦЫ, ЛУНЫ — БЕЛАЯ И ЗЕЛЁНАЯ, И ПРОЧИЕ, КТО ЖДАЛ, — потому что в этой истории важными считаются все, кто ждал.

Приписка Прохора Второго: «Список составлен по итогам первого тома, то есть по итогам самой жизни. В первой книге живёт — это профессия. Во второй, судя по черновикам, будет ещё и третьей колонкой. Заведу заранее».

Глава 1. Пирожок с повидлом и табурет

про то, как не стоит открывать духовку во время грозы

Если бы Вера Куликова знала, что двадцать восьмого мая, ровно в пять вечера, её жизнь разделится на «до» и «после», она всё равно открыла бы духовку. Потому что пирожки с повидлом не ждут ни грозы, ни судьбы, ни даже слегка подгоревшего теста.

Вера стояла на кухне пекарни «Верин пирожок» на Садовой и разговаривала с противнем. Говорить с тестом она научилась ещё в детстве — бабушка считала, что тесто слышит слова, и если ругаться, то оно поднимется обиженным. Поэтому Вера всегда говорила с ним ласково, даже когда оно липло к рукам, как назойливый бывший.

— Ну что, красавцы, — сказала она, глядя на противень, где одиннадцать пирожков с повидлом дымились будущим счастьем, — ещё восемь минут, и вы пойдёте к людям. Один, правда, уйдёт мне. Это не обсуждается. Это трудовой бонус.

За окном гремело так, будто само небо взяло заказ на громовое колесо. Свет мигнул. Духовка щёлкнула и — вопреки всем инструкциям производителя, гарантии и здравому смыслу — засветилась изнутри не оранжевым, а глубоко-фиолетовым. Из неё потянуло не хлебом, а чем-то средним между грозой, старой библиотекой и чуть-чуть сиренью.

— Ага, — сказала Вера профессиональным тоном. —

Подгорела проводка.

Она знала, что надо звонить электрику. Она знала, что нельзя открывать духовку, когда она фиолетовая. Она знала, что за стеной тётя Люся уже встаёт со стула, чтобы начать «разборку с пекарней, которая жжёт чужой счёт». Вера знала всё. Но фиолетовый свет пах сиренью, и сирень пахла чем-то очень далёким — тем, чего у неё не было давно.

И она открыла дверцу.

Дальнейшее она запомнила кусками: фиолетовая вспышка, вопль соседки за стеной («Опять эта пекарня! Кому я плачу за проводку!»), ощущение полёта, запах грозы и сирени, стук — и мир.

Вера открыла глаза. Над ней высилось дерево. Нет — не дерево. Башня. Из чёрного камня, с окнами, похожими на глаза совы, которые смотрели прямо на неё и не мигали. Небо было цвета спелой сливы, и в нём висели две луны: одна белая, вторая — зелёная, как облизанный огурец.

— Табурет, — сказала Вера.

Это была единственная ясная мысль. Потому что рядом с ней, упавший следом, стоял её кухонный табурет. Кошки не было — кошка была дома. А табурет был здесь. Вселенная словно намекала: подумай, что ты берёшь с собой в путешествия, гражданочка.

Вера посмотрела на табурет. Табурет посмотрел на Веру — точнее, стоял так солидно и так уверенно, что было ясно: он не раскаивается. Он такой, какой есть. И с ним она не

пропадёт.

Она поднялась. Отряхнула фартук — фартук был с ней, и это уже радовало. Ещё с ней были: два пирожка (один в кармане фартука — тот, что для себя; второй, по странному стечению обстоятельств, успел упасть в духовку раньше неё и улетел следом), скалка (мама всегда говорила: скалка в сумке — это мир и порядок) и отсутствие телефона, зарядки и вообще всего, что можно назвать «средствами связи с родиной».

— Ну и ладно, — сказала Вера вслух, потому что если не сказать вслух, то никто не услышит, а если никто не услышит, то этого не было. — Значит, другой мир. Значит, две луны. Значит, мне нужен план. Первый пункт плана: найти кухню.

Она постучала в дверь башни.

Дверь открылась сама. Со скрипом, обиженно, как будто её разбудили раньше девяти.

И Вера Куликова, пекарь с Садовой, которая три года пекла ватрушки с такой агрессией после Игоря с велосипед, что помощница просила не подходить к духовке без страховки, — Вера шагнула внутрь. Потому что когда духи пахнут сиренью, а в двери сквозняк — это не дом. Это приглашение.

Глава 2. Скелет с высшим образованием

о первом знакомстве и неуместном комплименте

В передней башни было темно, торжественно и пыльно так, как пылятся только вещи, которые встречали слишком мало гостей. Под канделябром, на котором не было ни одной свечи, но который всё равно держался с достоинством, стоял скелет.

В жилете. С пуговицами. В очках на костяной переносице. С реестром под мышкой — толстой, в потёртой обложке из кожи, которая умерла раньше, чем её хозяин, и теперь вела себя соответственно.

Скелет поднял бровь. Обе — то есть обе свои брови, из которых у скелетов, как известно, сохраняется только одна, а вторая обычно теряется где-то между смертью и переездом.

— Мортимеров, — сказал он укоризненно, обращаясь явно не к Вере, а к вселенной в целом. — Опять Мортимеров. Я же просил: никаких гостей до Пепельной среды. Я вписал это в реестр. Мелким, но настойчивым почерком. Статья третья, параграф одиннадцатый: «Гостей нет, потому что некому быть гостем».

— Простите, — сказала Вера. Первое, что пришло ей в голову, вырвалось наружу раньше воспитания: — А у вас очень красивые скулы.

Скелет замер. Костяные пальцы дрогнули и сложились в жест, который у него явно означал что-то среднее между «мир, дружба» и «я не готов к этой ситуации».

— Меня не хвалили с тысячи четыреста двенадцатого года, — сказал он наконец с достоинством человека, который умеет держать паузу, потому что у него вся жизнь — пауза. — Прохор Второй. Домоправитель, архивариус, библиотекарь, нотариус и — по совместительству — единственное существо, которому известно, что хозяин иногда ест.

— Ест?

— Ест. Раз в неделю. По воскресеньям. Молча. Я записываю в журнал: «Хозяин поел. Воздух разрядился». Это максимум, который я имею право внести по графе «эмоции». — Скелет поправил очки. — Простите, а вы кто?

— Вера Куликова. Я пекарь. — Она осеклась, потому что голос для этого слова был нужен другой, уверенный. — Пекарша. Пекарь. Короче — я пеку.

— Вы упали с неба.

— Я упала из духовки.

Прохор Второй сделал вид, что это нормальная формулировка. Сделал хорошо — так хорошо, что Вера почти поверила, что он верит. Но внутри, по глазницам было видно, он поставил себе зарубку: «Гостья из духовки. Носит фартук. Хвалит кости. Возможно, опасна».

— Духовка, — повторил он задумчиво. — За последние четыреста лет через переход приходили: мимовольный ве-

тер (дважды), одна мельница с мельником (мельник до сих пор судится), семь кометных осколков и один носок. Носок, кстати, до сих пор носим. Прошу простить каламбур, я его записал. Человек — впервые.

— Может, я представлюсь ещё раз? — сказала Вера. — Вера Куликова. Пекарь с Садовой улицы, дом восемь. Или уже не Садовой? — Она посмотрела в окно, за которым висели две луны. — Или уже не улицы?

— Уже не улицы, — вежливо подтвердил Прохор Второй. — Вы находитесь в Ирмалионе. Холм Тихих Ветров, башня Вечеровых, тридцать вторая миля от деревни Мирок. Местное время: вечный сезон «после захода». В течение дня у нас бывают: утро сумрачное, полдень серый, вечер глубокий и ночь, которая простите, но ночь у нас просто ночь, без поэзии, потому что поэзию в четыреста шестом запретили постановлением.

— Запретили поэзию? Кто?

— Совет Теней. Там посчитали, что рифмы нарушают гравитацию. Впрочем, — скелет поднял палец, — это между нами.

Вера оглядела переднюю. Стены — тёмный камень, тёплый на вид, как остывший хлеб. Ступени вверх — широченные, отполированные подошвами семи поколений. Ступени вниз — в темноту, откуда тянуло… и тут Вера замерла.

Из-под пола, из глубины, шёл запах.

Не смертью. Не грозой, как снаружи. Не старой библио-

текой.

Хлебом. Тёплым, дрожжевым, корочным — тем самым запахом, ради которого пекари встают в пять утра и из-за которого соседи прощают им шум тестомеса в шесть.

— Вниз ведёт? — спросила Вера, уже шагая.

— Позвольте! — Прохор Второй оказался перед ней стремительно, как тушат пожары. — Спускаться вниз без сопровождения запрещено! Статья первая, параграф второй: «Не спускаться вниз». Статья первая, параграф третий: «Всё равно никто не слушается, но долг требует объявить».

— А чем он там занимается?

Прохор Второй замялся. Скелеты не потеют, но что-то в его очках подёрнулось той пылью, которая появляется, когда совесть не находит места.

— Занимается, — сказал он наконец, с выражением человека, который знает государственную тайну и ненавидит свою осведомлённость. — Выпекает.

Вера ахнула. — Здесь пекут?!

— Тсс! — скелет взвился, как штора на сквозняке. — Никто не должен знать! Если он узнает, что вы знаете, что я знаю, что он печёт, будет скандал! Уничтожение доказательств! Реорганизация штата — то есть меня! Я сорок лет храню эту тайну! Это самая длинная тайна в моём реестре — том четырнадцатый, страница шестьсот двадцать две!

— А что там в остальных томах?

— Погода, — сказал Прохор Второй. — За четыреста лет.

Я заношу всё: осадки, настроение башни, количество сквозняков и причины, по которым хозяин улыбнулся. Причин, к вашему сведению, три: гроза (дважды), баночка с тоской (случайно упала, хозяин обиделся за тоску), и опечатка в чужом письме, которую хозяин нашёл смешной (я не нашёл, но я поддерживающий).

Внизу что-то глухо стукнуло — как противень о каменный стол. Потом ещё раз. Потом — тихое, почти неслышное, недовольное фырканье печи, которая явно не хотела подниматься до нужной температуры.

Вера посмотрела на ступени. Ступени посмотрели на Веру — в том смысле, в котором старые ступени всегда смотрят: «Мы были к этому готовы весь срок службы».

— Прохор Второй, — сказала она. — Я вам кое-что скажу, как пекарь пекарю. Ну, как пекарь помощнику. Ну, как пекарь тому, кто сорок лет записывает «воздух разрядился».

— Внимательно слушаю.

— Если внизу пекут — значит, внизу не всё потеряно. Некромант, который печёт, — это не некромант, это человек, которому очень одиноко. А одиноким я не дам пропасть: у меня для этого фартук и противень.

Прохор Второй молчал. Потом сказал — тихо, без протокола, впервые за всё знакомство:

— Девочка. Он на вас не пойдёт. Он на людей не смотрит. Он на зеркало даже не смотрит.

— Значит, начнём с зеркала, — сказала Вера и пошла

вниз.

Скелет проводил её взглядом. Потом открыл реестр, обмакнул перо в чернильницу с настоем полыни (живым — простую, мёртвым — полынную) и записал крупными буквами, для которых не пожалел места на странице:

«Двадцать восьмое мая. В башню вошла гостья из другого мира. Через духовку. Пахнет пирожками и бессмертием. Побежала к хозяину. Пусть побежит. Сорок лет никто не бежал к хозяину навстречу.

Занесено. С любовью».

Глава 3. Некромант, который боялся зеркал

о хозяине башни и запахе, который его выдал

Ступени вели вниз изгибисто, как вело их вести: не прямо, а с раздумьями — в некромантских башнях даже лестницы избегают прямолинейности. Вера спускалась, держась за стену, и стена была тёплая — не камнем тёплая, а хлебом: так греется стена печи, за которой живёт огонь.

— Интересно, — бормотала она себе под нос. — Весь дом сверху ходит на цыпочках, а снизу пахнет, как суббота у бабушки.

Темнота внизу жила умная и вежливая: она не напугала, а расступилась. В дальнем конце подвала горел очаг — не живым огнём, а темноватым, глубоким, цвета остывающего угля. Полки тянулись вдоль стен от пола до свода, и на полках стояли банки. Сотни банок. На каждой — этикетка, аккуратным, чуть строгим почерком: «Тоска вечерняя. Плотная». «Тоска утренняя. Разжиженная, добавлять по капле». «Обида, слабая, вторая свежесть». «Смех чужой, собранный у чужого окна, три капли». «Терпение». «Страх, переработанный в осторожность». И одна банка — маленькая, в самом углу, вся в пыли, с наклейкой, которую давно никто не переворачивал: «Надежда. Осторожно: живая».

Вера посмотрела на банку с надеждой. Банка как будто

посмотрела в ответ — изнутри что-то мягко качнулось, как тесто, до которого дотронулся палец.

— Ну-ну, — сказала Вера банке. — Я тоже живая. Потерпим вместе.

А потом она услышала голос.

— …не так, — говорил голос низко, устало, самому себе. — Тесто не так. Опять не так. Хлеб не слушается, потому что у него нет причин слушаться. У людей тоже нет причин слушаться, поэтому люди не получаются. А хлеб должен получиться, потому что хлеб — это не я. Хлеб — это единственное, что не я.

Вера обогнула стеллаж — и остановилась.

У очага, на корточках, стоял мужчина. Высокий, узкий, в чёрном — чёрное на нём сидело не как одежда, а как решение. Руки у него были сильные и в то же время осторожные: он держал противень так, как держат новорождённого или чужое сердце, которое по ошибке вручили тебе на хранение. Противень был горячий. Мужчина его не замечал.

— Ловите, — сказала Вера.

Потому что каравай на противне качнулся, наклонился к краю и начал снаряжаться в полёт. Мужчина среагировал мгновенно — перехватил, прижал к себе, повернулся —

— и Вера увидела его лицо.

Потом, много позже, она будет пытаться объяснить тёте Люсе, как выглядел Мортимер Вечеров в первую секунду. Получалось плохо. Лучше всего у неё выходило так: «Пред-

ставь ночь, которая очень старается быть скалой. И почти справляется».

Лицо было красивое — и красота эта была неправильная, неудобная, как красота грозы: высокие скулы, резкая линия рта, глаза цвета старого серебра — не серого, а именно старого серебра, потемневшего от времени, но не утратившего способности блеснуть. И главное — лицо было напряжено целиком, как струна: человек ждал. Ждал, что сейчас закричат, отдёрнутся, перекрестятся, убегут. Он готовился к страху, как другие готовятся к празднику.

— Кто позволил вам сюда? — спросил он.

Голос был именно такой, каким его описывают в страшных книжках: низкий, холодный, от которого гаснут свечи. Свечи и правда погасли. Все. Разом. В подвале остались только очаг и его темноватый огонь.

— Дверь, — сказала Вера. — Дверь сама открыла. Я вообще тут ни при чём, я просилась наружу, а меня впустили. С вами всё в порядке со службой пропусков? Спрошу у скелета.

— Скелета? — Мужчина выпрямился. — Прохор вас впустил?

— Прохор мне чай не предложил, потому что не успел. Зато хвалился, что вас никто не застукает за печением. Не переживайте, я молчу. Слово пекаря.

Мужчина смотрел на неё так, как смотрят на опечатку в документе, которую невозможно игнорировать и невозмож-

но исправить. Потом взгляд его опустился — на каравай в своих руках. И выражение лица изменилось: струна не отпустила, но дрогнула. Каравай был румяный, круглый, с надрезом крест-накрест, и пах он так, что у Веры защипало в груди — тем самым запахом, который не спутаешь ни с чем: домом.

— Это не хлеб, — сказал Мортимер Вечеров.

— Это каравай, — сказала Вера. — Румяный. С надрезом крест-накрест, чтобы не трещал. Кто вас научил делать надрез крест-накрест?

— Никто.

— Значит, научился сам. Это хуже и лучше одновременно. Это не хлеб, значит, — Вера сделала шаг ближе, наклонилась и понюхала, — а что же это?

— Это эксперимент, — сказал некромант. — Тёмный. Философский. Не для мирской публики.

— Философский, — повторила Вера. — Пшеничный или ржаной?

Мужчина моргнул. Медленно. Так, как моргают люди, над которыми очень давно не шутили, — они успели забыть, что смех существует, и теперь не знали, куда его девать.

— Вы не боитесь, — сказал он вместо ответа.

— Боюсь, — честно сказала Вера. — Сейчас проверю. Ой, да, боюсь, что у вас тесто перекиснет, пока мы тут философствуем. Дайте сюда. И противень. И вон ту сковороду — нет, сковорода мёртвая, отдыхает. Мука где?

— В бочке. Слева. Но…

— Но?

— Но зачем? — спросил он, и в голосе — впервые за весь разговор — прорезалось что-то живое, что-то, что сорок лет держали за замком: недоверие, за которым пряталось отчаянное желание поверить. — Вы из верхнего мира. Вы упали из духовки. Вы должны были кричать. Бежать. Звать стражу. Совет Теней. Кто угодно.

— Звать стражу, чтобы она арестовала хлеб? — Вера уже открывала бочку. — Стража испугается запаха и побежит в обратную сторону. Я знаю по опыту: в нашей пекарне участковый три года ходил мимо и каждый раз делал вид, что проверяет витрину. А витрина у нас четыре раза в месяц пустая.

— У вас есть пекарня?

— «Верин пирожок». Садовая, восемь. Была. Наверное, ещё есть. Если тётя Люся не закрыла по причине «соседка пропала при странных обстоятельствах, духовка фиолетовая, скалку прилагаю как вещдок».

Она высыпала муку на стол — большой, каменный, старый. Мука взлетела облаком и осела на рукава, на фартук, на скулы некроманта. Он не отёр её. Он стоял и смотрел, как она месит, — и смотрел так, что у Веры, у пекарни, у которой нервы калёные, всё-таки ёкнуло. Так смотрят не на процесс. Так смотрят на чудо.

— В воскресенье, — сказал он тихо, — я пеку. Всегда в воскресенье. Раз в неделю. Этого хватает на неделю тишины.

— Что значит «хватает»?

— Запах. Пока дом пахнет хлебом — стены спокойны. Призраки не беспокоятся. Я… — он подобрал слово, как подбирают осколки, — я спокоен. Пока в доме есть запах, дом живой. А когда дом живой, я могу делать вид, что тоже.

— Хм, — сказала Вера, не переставая месить. — А есть вы когда пробовали?

— Я не ем, — сказал Мортимер так твёрдо, что стало ясно: он врёт, и врёт давно, и сам себе уже не верит, но привычка врать крепче правды.

— А кто тогда съел мой пирожок из кармана? — Вера выпрямилась и посмотрела на него в упор. — Пока я валялась без сознания у порога. Прохор сказал: гостью ограбили. В башне, где живут некромант и скелет, есть только один подозреваемый.

Тишина в подвале стала такой плотной, что её можно было резать — и Вера при случае резала бы её ножом для теста, у него удобная ручка.

— Прохор болтун, — сказал Мортимер.

— Прохор архивариус. Архивариусы не болтают, они документируют. — Вера отломила кусок от своего второго, спасённого пирожка, протянула ему. — Так. Некромант. У меня к тебе два вопроса. Первый: ел ли ты этот пирожок?

— …Возможно.

— Второй: понравился ли?

Мортимер Вечеров, наследник семи поколений тьмы, ла-

уреат Академии с отличием и обручем из чёрного золота, взглянул на кусок пирожка с повидлом в руке живой женщины из другого мира — и сказал правду. Первую за сорок лет правду, сказанную человеку.

— Я думал о нём три часа, — сказал он.

— Ну вот, — сказала Вера и вернулась к тесту. — Значит, всё в порядке. Человек, который думает о пирожках, — живой. А тесто, между прочим, слушается меня, потому что я с ним говорю. Научу. Недорого. С тебя — хлеб по воскресеньям и обещание, что больше не будешь называть каравай экспериментом. Каравай — это каравай. Философия пусть остаётся в банках.

Мортимер подошёл к столу. Взял вторую скалку — да, у некроманта оказалась своя скалка, и Вера по достоинству оценила этот факт: «Скалка в доме — мир и порядок, мама была права».

— Я не умею разговаривать с тестом, — сказал он.

— Никто не умеет. Все просто врут. Тесто слышит не слова, а руки. Ну-ка, вот так. Не бойся его. Оно уже мёртвое ничего тебе не сделает… то есть нет, оно живое, но дрожжи, они, считай, родственники — тоже умирают и воскресают каждую выпечку. Вам, некромантам, должно быть по фамильному родству знакомо.

И Мортимер — впервые за сорок лет — засмеялся. Коротко, криво, с испугом на собственный смех, как человек, у которого во сне выросли крылья, и он проснулся, а крылья

остались.

На самом верху башни, в передней, Прохор Второй поднял голову от реестра. Он не слышал слов. Но он услышал смех — сквозь четыре этажа, сквозь камень, сквозь сорок лет.

Скелет открыл реестр. Обмакнул перо. Рука дрожала — не от страха, от торжества.

«Двадцать восьмое мая. Хозяин засмеялся.

Причина: гостья.

Прогноз: неизвестно. Впервые за сорок лет — неизвестно.

Сорок лет я записывал одно и то же, и мне было спокойно от этой скуки. Теперь мне неспокойно, и это гораздо лучше.

Занесено с любовью и с испорченной строкой от дрожащей руки».

Глава 4. Правила дома

о комедии быта в башне мрачных традиций и о том, как непросто жить с занавесками, когда ты тьма

Правила башни были вырезаны на каменной плите у входа в подвал и дополнялись по мере жизни. Первые три правила написал ещё прадед Мортимера — древним уставом Академии Тьмы. Прохор Второй дописал остальные за четыреста лет службы, и шрифт его правил становился всё мельче и всё злее — в зависимости от того, сколько раз правило нарушали.

Плита гласила:

1. В склянках живут чувства. Не открывать без хозяина. 2. Не свистеть в подвале. Баночка «Обида, слабая» принимает свист за личное оскорбление. 3. Воскресенье — день тишины. Не потому что мёртвые спят. Потому что хозяин печёт. 4. Гостям выдавать чай. Даже невежливым. Особенно невежливым. 5. (приписка Прохора Второго): «Не благодарить меня вслух. Я костяной, я от благодарности ржавею». 6. (приписка более свежая, торопливая, явно написанная в одну ночь): «НЕ ПУСКАТЬ В БАШНЮ ЛЮДЕЙ ИЗ ДРУГИХ МИРОВ».

Вера прочитала плиту и спросила:

— Это про меня?

— Это про мельника, — вздохнул Прохор Второй. — Тот

тоже сначала был «мимо проходил».

За неделю жизни в башне Вера установила расстановку сил. Расстановка была такая.

Башня не переносила веселья. Когда Вера напевала на кухне — то есть когда она просто месила тесто, потому что молча месить тесто у неё не получалось с восьми лет, — окна башни становились чуть светлее. Двери, которые обычно скрипели с укором, скрипели с любопытством. А однажды, когда Вера рассмеялась над тем, как Мортимер пытается перевернуть противень посохом (посох для этого не годился, но Мортимер упрямо верил в свою эстетику), сквозняк по коридору вдруг пошёл весёлый, подхватил пыль и устроил нечто, очень похожее на хоровод.

— Башня танцует, — изумилась Вера.

— Башня не танцует, — сказал Мортимер. — Башне четыреста лет. Она слишком стара для танцев.

— В этом возрасте как раз танцуют, — сказала Вера. — Всё молодое ещё смущается.

Прохор Второй занёс в реестр: «Атмосфера: подозрительно тёплая. Причина установлена: пение. Рекомендация: вносить пение в смету расходов как коммунальную услугу».

Прохор Второй не переносил неаккуратных записей. Вера однажды взяла его реестр, чтобы уточнить, в какой банке лежит тоска вечерняя (ей понадобилось чуть-чуть — для настроения теста), и случайно оставила закладку, загнутую не по линиям разметки. Скелет стоял над этой закладкой сорок

минут. Вера знала это, потому что хронологию восстановил сам Мортимер: он видел сквозь пол и доложил.

— Строки у тебя в реестре неровные, — сказал он Вере с укором, глядя куда-то в стену, потому что в глаза прямому свету он не смотрел по привычке.

— Неровные строки — живые строки, — сказала Вера. — У мёртвых строк всё ровно. Хочешь, научу, как я выравниваю? Я дышу на них.

— Прошу занести, — сказал Прохор Второй, — что гостья оправдывает разрушение структуры. И попросить у неё дыхание по расписанию.

Мортимер не переносил не было известно чего. В этом и заключалась главная загадка, над которой Вера разбиралась всю неделю. Мрачность его была не злой — она была неудобной. Он мрачнел равномерно, как фундамент, но по краям этой мрачности просвечивало. Приметы были такие.

Когда Вера напевала — он стоял в дверях кухни. Просто стоял. Просто в дверях. Прохор Второй однажды тайминг засёк: сорок одна минута.

— Ты что делаешь? — спросила Вера, вылепив наконец пирожок-полумесяц.

— Слежу за состоянием эфира, — сказал Мортимер.

— В дверях?

— Эфир находится в дверях, — сказал он с достоинством человека, для которого фраза «эфир находится в дверях» была абсолютно нормальной.

Когда Вера улыбалась ему — он отворачивался к полкам и начинал очень интересоваться банками. Брал «Тоску вечернюю, плотную», встряхивал, смотрел на свет, ставил обратно. Плотная тоска за эту неделю была встряхнута одиннадцать раз. Прохор Второй завёл для этого отдельный график.

А когда Вера зевала — он зевал следом. Всегда. И тут же объяснял:

— Это реакция эфира.

— Эфир у тебя зевает?

— Эфир — среда, — сказал Мортимер. — Среды подражают.

— Хозяин подражает, — прошептала Вера.

— Прошу занести, — сказал из-за угла Прохор Второй, — что гостья дерзка. И что хозяин дерзость не опроверг. Оба факта важны.

Но главная битва недели разыгралась из-за занавесок.

Вера нашла на чердаке рулон ткани — бледно-зелёной, полосатой, с запахом, который перекликался с полками подвала (ткань, судя по всему, тоже была смежных профессий). И повесила занавески на кухонное окно. Одну. Половинную. Пока.

Мортимер увидел это вечером и замер в проёме, как человек, увидевший чужой сапог в семейном склепе.

— Что это.

— Занавеска, — сказала Вера. — Или ползанавески. Полотно кончилось, доеду в деревню, докуплю.

— Башне не нужны занавески.

— Башне нужны занавески. Башня сорок лет смотрела в окно на тьму без противовеса. Это вредит зрению.

— Башня не видит. Башня — башня.

— Значит, занавески нужны мне. Мое зрение мне дорого. Я в этом мире одна, и глаза у меня одни.

Мортимер молчал. По опыту Вера уже знала: он молчит не тогда, когда нечего сказать. Он молчит тогда, когда сказать хочется слишком много, а сказать нельзя — потому что всё, что хочется сказать, тридцать лет приучали считать постыдным.

— Занавески, — сказал он наконец очень тихо, — будут перебивать свечам.

— Свечам будет перебивать свечение. Занавески — это гардероб для окна. Окно в нём красивее. И всё.

— Окно не нуждается в красоте.

— Окно — это ты, — сказала Вера просто. — И ты нуждаешься. Сорок лет тебе говорили, что не нуждаешься, и ты поверил. А теперь живём и перезачитываем.

Мортимер ушёл в подвал. Внизу он сорок минут не подходил к печи — Прохор засёк и так и записал: «Хозяин стоял у банки с терпением. Не взял. Стоял так близко, что банку можно было считать открытой».

А занавеска висела. И через два дня Вера застукала Мортимера за тем, что он, думая, что в кухне никого нет, поправил её край. Поправил осторожно, двумя пальцами, как по-

правляют то, к чему не имеют права прикасаться.

— Тебе идёт, — сказала Вера из-за дверей.

— Это реакция… — начал Мортимер.

— Занавесок? На тебе?

— Эфира.

— Заноси, — крикнула Вера Прохору. — Эфир примеряет занавески!

На третий день в башню пришла беда. Беда пахла гарью и несла кочергу: лорд Пепел, Террор Округа, Носитель Тьмы, явился за квартальной данью страха.

Стучал он в главную дверь посохом так, что с полок в передней попадали три склянки с совестью чужой (Прохор их подобрал на лету, не роняя ни капли, — за этим дело стало привычкой).

— ВЕЧЕРОВ! — гремел Пепел с крыльца. — ОТКРОЙ! Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ДОМА! В БАШНЕ СВЕТ! СВЕТ — ЭТО ВЕСЁЛОСТЬ! ВЕСЁЛОСТЬ — ЭТО ДАНЬ С БОЛЬШЕЙ ТАРИФИКАЦИЕЙ!

Мортимер побледнел — а для некроманта побледнеть уже само по себе крик ужаса.

— Пепел. Здесь.

— Кто это? — спросила Вера.

— Лорд Пепел. Тёмный властелин этой округи. То есть… — Мортимер запнулся, подбирая слова так, как подбирают щепки, — он ходит по деревням и требует дань страхом. Дань состоит из страха. Дани давно никто не платит. Дань

состоит из нуля. Но он приходит. Каждый квартал. Он приходит сорок лет.

— Сорок лет? — Вера посмотрела на мужа, и в груди у неё что-то шевельнулось — то самое, что шевелится у пекарей при виде человека, который не ел тёплого давно. — Сорок лет он приходит за данью, которой не платят, и ты сорок лет его выгоняешь?

— Я его не выгоняю. Я его не впускаю.

— А он уходит?

— Он уходит. Уходит и приходит снова.

— Значит, — сказала Вера и завязала фартук, — он не за данью ходит.

— За чем же?

— За тем, чтобы приходить.

И Вера пошла открывать дверь. Мортимер потянулся было к посоху, Прохор Второй выхватил реестр («Событие знаковое, протокол обязывает»), а башня на весь холм скрипнула — так скрипят двери, когда не могут удержать хозяина и заранее соглашаются.

На пороге стоял лорд Пепел — невысокий, неопрятный, в мантии с заплатками, с кочергой в руках. За его спиной, на крыльце, дрожали два испуганных подручных: гоблин и полупризрак. Гоблин зевал. Полупризрак плакал — они вообще много плачут.

— ТЬМА ПРИШЛА ЗА ДАНЬЮ, — сказал Пепел и поперхнулся, потому что из дверей башни на него повеяло.

Не тьмой. Не страхом. Пахло — только что из печи — свежим хлебом.

Глава 5. Дань пирожками

о том, как Тьма впервые поела тёплого и что из этого вышло

Лорд Пепел вошёл в башню так, как входили все тёмные властелины: сначала дым (он принёс с собой в маленькой баночке, потому что башни без дыма выглядят неуважительно), потом плащ, потом голос.

— ВЕЧЕРОВ! — прогремел он, раскинув кочергу. — Я пришёл за данью! За квартальным сбором страха! По протоколу Террора! Статья первая: каждое селение платит страхом. Статья вторая: башня платит страхом вдвойне, потому что башня — крупный налогоплательщик!

— Башня не платит страхом, — сказал Мортимер, вставая между гостем и Верой. — Башня не платит никогда. Сорок лет.

— Я знаю! — Пепел ткнул кочергой в сторону дверей. — И всё же я прихожу! Потому что протокол! Протокол требует, чтобы я приходил! Иначе я не лорд Пепел! Я просто… — он запнулся, и голос его на миг потерял громкость, — я просто человек с кочергой, который ходит по домам, где его жалеют.

Гоблин за его спиной зевнул. Полупризрак всхлипнул.

Вера посмотрела на этого Террора Округа — невысокого, в заплатках, с пылью в мантии и с тем особенным выраже-

нием лица, которое бывает у людей, очень давно не евших тёплого. Она видела такое лицо у соседа дяди Гриши, когда тот месяц жил на одних сухарях после ссоры с женой. Она знала, что делать с такими лицами.

— Присядьте, — сказала Вера.

Пепел оглянулся. За спиной у него никого не было — он проверил. Потом посмотрел на Веру.

— Ты… обращаешься ко мне? — спросил он. — Не к хозяину башни? Ко мне?

— К тебе. У тебя на плаще заплатка на локте, и она разошлась. Дай сюда — зашью. А заодно садись к столу. У меня как раз подходят пирожки.

В подвале — потому что пекарня к этому дню уже переехала из башенного зала в подвальное помещение, где была настоящая печь, — духовка щёлкнула. Запах пошёл новый: не хлебный, а сдобный, повидловый, тот самый, из-за которого Вера когда-то открыла фиолетовую дверцу.

Пепел сел. Сел неловко, как садятся люди, которые к стульям не привыкли, — сперва на самый краешек, готовый вскочить при первом же крике «Тьма не заслуживает стула!».

— Пирожки — это ловушка, — сказал он с достоинством. — Все знают, что Тьма не ест тёплого.

— Почему?

— Потому что если Тьма поест тёплого, она перестанет быть Тьмой. Это всем известно. Это у нас в образователь-

ной программе. — Пепел понизил голос до заговорщицкого шёпота: — Между нами: образовательной программе двести лет, и за это время ни один тёмный властелин тёплого так и не попробовал. Не рискнули. Вдруг перестанут.

— А ты хочешь попробовать?

Пепел посмотрел на свои руки — маленькие, обветренные, с мозолями от кочерги. Потом на пирожок, который Вера поставила перед ним. Потом снова на руки.

— Если я попробую, — сказал он тихо, — кто меня потом узнает? Я сорок лет строил репутацию. Террор Округа. Носитель Тьмы. А если я съем пирожок, я стану просто лордом Пепелом, который ест пирожки. Это… это конец карьеры.

— Это начало другой, — сказала Вера.

— Какой?

— А это как пойдёт. Может, будешь моим официальным дегустатором. У меня в пекарне всегда открыта ставка: нужен человек, который пробует всё новое и честно говорит «невкусно». Все боятся мне это говорить. Мортимер боится. Прохор боится. Башня, кажется, тоже. А у тебя в должностных обязанностях — честность и громкость. Идеальная кандидатура.

Пепел сидел неподвижно. Гоблин дышал на затылок. Полупризрак плакал тише, чем обычно, — у него, кажется, высыхали причины.

И тогда Мортимер сделал то, чего Прохор Второй не заносил в реестр сорок лет: он придвинул стул и сел рядом с

лордом Пепелом. Просто сел. Просто рядом.

— Я тоже не ел тёплого, — сказал Мортимер. — Двадцать лет. Только то, что пёк сам. И то — втайне, ночью, когда никто не видит. Знаешь, как это называется, когда человек боится есть тёплого при других?

— Как? — прошептал Пепел.

— Одиночество. Только оно называется красиво — «тёмный путь». Я по нему шёл сорок лет. Не советую: дорога скучная, обочины мрачные, пейзаж один и тот же — сам себя. А у неё, — Мортимер кивнул на Веру, — пирожки на другой дороге. Называется «к столу». Там тесно, шумно и пахнет повидлом. Но по крайней мере по этой дороге идут люди.

Пепел взял пирожок. Обеими руками — так берут не еду, а священный предмет, который в любой момент может исчезнуть.

Куснул.

Замер.

Потом медленно, очень медленно, поставил пирожок на стол. Встал. Снял мантию — ту самую, с заплатками, в которой сорок лет был Террором. Сложил её на спинку стула. Аккуратно.

— Что ты делаешь? — шёпотом спросил гоблин. — Лорд! Это же ваша мантия! Террор без мантии — это просто…

— Просто Пепел, — сказал Пепел. — Знаю. — Он повернулся к Вере, и лицо у него было красное, как у человека,

который впервые в жизни плачет на людях и знает, что имеет право. — У вас тут принимают заказы на свадьбы?

— На свадьбы?

— Ну да. — Он замялся. — У меня через месяц юбилей. Пятьдесят лет с того дня, как я решил стать тёмным властелином. Пятьдесят лет — а у меня ни одного гостя. Ни одного пирога. Ни одной свечки, которую некому задувать. Прошу занести в протокол Террора, — добавил он, задрав подбородок с отчаянной бравадой, — что юбилей Террора празднуется без гостей в одиночестве, как и положено тьме.

— В смысле, — сказала Вера, у которой вырвалось одно материнское слово из другого мира, — то есть... то есть. Будет тебе тьма в одиночестве. Приходи с гоблином и полупризраком. Приводите всех своих. У меня печь большая.

— Всех? — Пепел не поверил. — То есть… у тебя есть ещё кто-то?

— Есть. Весь Ирмалион. Ты просто никогда не звал.

— А меня не выгонят?

— Попробуй только не приди. Я за тобой приду. С пирожками. В башне. На миру.

И тогда случилось то, что Прохор Второй записал в реестре под заголовком «Историческое событие №6. Отложено. Внесено с опозданием, потому что рука не повиновалась»: лорд Пепел, Террор Округа, Носитель Тьмы, сорок лет собиравший дань страхом, — заплакал.

Плакал он страшно и красиво: маленькими рывками, как

плачут люди, которые разучились и теперь заново учатся. Гоблин смотрел на него снизу вверх с изумлением. Полупризрак плакал в тон — полупризраки вообще плакали всегда в тон, у них это резонанс.

А Мортимер Вечеров, некромант, которого боялась вся округа, накрыл плечо Пепела своей рукой — той самой рукой, что держала посох, книги, банки с тоской и ни разу не держала другого человека за плечо.

— Тихо, — сказал он. — Всё нормально. Ты просто стал чуть живее. Это ощущается как ожог. Потом проходит. Потом — не хочется обратно.

Прохор Второй открыл реестр. Перо дрожало. Он написал медленно, старательно, и потом ещё раз перечитал, чтобы убедиться, что не ослышался сам себя:

«Двадцать девятое мая. В башне едят тёплого четверо. Из них трое плакали. Один смеялся. Один — я — не сделал ни того, ни другого, потому что скелеты не плачут и не смеются, но, клянусь реестром и всеми томами погоды за четыреста лет, если бы мог — сделал бы оба.

Хозяин держал лорда Пепела за плечо. Прошу занести отдельно: хозяин держал кого-то за плечо.

Прогноз: пекарня скоро станет слишком тесной.

Рекомендация: расширяться».

Вечером, когда Пепел с гоблином и полупризраком уходил — неся с собой две корзины пирожков «для распространителей тьмы в окрестных лесах» и увозя баночку дыма, из

которой они так и не решились сделать выводы, — Вера стояла на пороге и смотрела, как они удаляются по холму.

— Знаешь, что я заметила? — сказала она Мортимеру.

— Скажи.

— Он ведь не за данью приходил. Сорок лет. Он приходил, чтобы в мире было хотя бы одно место, куда он приходит. И хоть куда-то его пускали.

Мортимер помолчал.

— Я его не пускал, — сказал он наконец. — Сорок лет не пускал. Я считал, что башня — это моё одиночество, и одиночество нужно беречь. А выходит, я просто берёг грех.

— Нет, — сказала Вера. — Ты берёг дверь. Двери всегда берегут до поры, пока не приходит тот, ради кого их стоит открыть.

Башня за их спинами тихо скрипнула всеми окнами разом. Прохор Второй, не поворачиваясь, занёс в реестр:

«Башня согласна. Внесено с гордостью за конструкцию».

Глава 6. Лиса-почтальон и цена письма

о том, что некоторые письма не стареют, а ждут

Глафира пришла на следующее утро — в пятницу, по расписанию почтового тракта, которое составляла она сама и которое было удобно исключительно ей. Лиса вышла на крыльцо башни, поправила лапой очки для чтения (очки уже были на носу, но она их поправила из принципа) и постучала в дверь хвостом. Стучать лапами она считала недостойным профессии.

— Почта! — объявила она, когда Вера открыла. — Доставка по округе. Тариф — хлеб. Полкаравая за письмо, каравай за посылку, два каравая за плохие новости, потому что плохие новости надо заедать.

— А за хорошие?

— За хорошие — ломоть и обнимашки, — сказала Глафира без тени смущения. — Таксировка утверждена моей совестью.

Вера дала ей полкаравая — вчерашнего, подогретого. Лиса съела его прямо на крыльце, с закрытыми глазами, и три минуты не двигалась. Потом открыла глаза и сказала:

— Всё. Я живая. То есть мёртвая. Но ты поняла.

— Ты помнишь вкус, — тихо сказала Вера. Не спросила — сказала, потому что видела по морде.

— Помню. Сорок лет не помнила, что помню. — Глафира села на крыльцо, положив хвост на лапы, как гражданка на скамейке. — Я умерла сорок лет назад. На службе. Везла почтовый тракт через Гнилой брод, а брод был гнилой не по названию. С тех пор — призрак. Но сумку я сохранила. И пайку сохранила. И — прости, девочка, я сейчас скажу то, что говорю в первый раз за сорок лет, — мне страшно было идти сюда. К башне. Мимо башни я хожу самой дальней дорогой, по запаху, как по адресу. Потому что здесь пахнет тем, чего у меня больше нет.

— Хлебом?

— Работой, — сказала Глафира. — Я умерла при недоставленном письме. Понимаешь, что это значит для почтальона? Это значит всё. Призраки ходят в мир мёртвых с пустыми сумками. Одна я — с недоставленным письмом. Сорок лет.

Вера присела рядом на ступеньку. Ступенька скрипнула одобрительно.

— А почему не доставила?

— Потому что письмо не моё, — сказала лиса просто. — Я его вскрыла на девятый год. Я не гордилась этим, но почтальон, который несёт письмо сорок лет, имеет право знать, за что несёт. Я вскрыла — и закрыла обратно. И с тех пор не могу его отдать. То есть могу. Не могу. И то и другое сразу, вот в чём беда.

— А чьё оно?

— Хозяина, — сказала Глафира. — От его матери.

В глубине сумки, под слоем сорокалетней пыли, под тремя неоплаченными квитанциями и огрызком вечного яблока (призрачные яблоки не гниют — они просто перестают быть чьими-то), лежал конверт. Конверт был не старый — он был мёртвый, как и всё, что путешествовало по сумке призрака: бумага побелела, чернила выцвели до серебра, а печать на сургуче сохранилась идеальной, потому что сургуч держится на памяти крепче, чем на бумаге.

Мортимер взял его так, как берут перепелиное яйцо: двумя пальцами, боясь сломать.

— Это не может быть её почерком, — сказал он.

— Это её почерк, — сказал Прохор Второй и — Вера была почти уверена — перестал дышать, хотя дышать он и не мог. — Я узнаю. Я переписывался с ней по хозяйственным вопросам двадцать лет. Она вела банковский над бездомными призраками. Я вёл реестр башни. Мы никогда не встречались, но почерк я знаю. На этой бумаге сорок строк, и каждая стоит вертикально, как ружьё в карауле. Это её почерк.

— Она умерла, когда мне было девять лет, — сказал Мортимер. — Я не помню её почерка. Я не помню её голоса. Я помню только, что она пахла мятой и что она запретила мне смеяться.

— Запретила? — Вера повернулась к нему.

— Смеяться, — повторил он ровно, как читают протокол. — В доме мёртвых смеются эхом, а эхо притягивает то,

что не должно входить. Так она сказала. Я смеялся один раз. Один раз за девять лет. — Он замолчал, и голос на секунду стал у него не протоколом, а мальчиком. — На поляне. За башней. Я смеялся, потому что упал в крапиву и было смешно, что падать в крапиву больнее, чем в кусты… — потому что просто было смешно. Она выпорола меня. Не за крапиву. За смех. Я больше не смеялся при ней. Через неделю её не стало.

В конверте было одно письмо. Одна страница. Мортимер развернул её — и Вера увидела, что рука у некроманта дрожит ровно так, как дрожала рука у скелета, когда тот писал о смехе хозяина.

«Сын мой, — писала мать, —

я пишу это в ночь, которую ты не вспомнишь, потому что тебе четыре года, и ты уснёшь, а я буду сидеть до утра и придумывать, как сказать тебе это, когда ты вырастешь. Боюсь, что не успею вырастить тебя до этой ночи. Некроманты чувствуют такие вещи раньше аптекарей.

Услышь меня, пока я ещё не стала тем, кем стану: смех не притягивает тьму. Я соврала тебе. Я запретила смеяться не потому, что смеяться опасно. Я запретила, потому что твой смех напомин… — и тут слово пропало, выцвело, как будто его съело время, — потому что твой смех был так громок, что во мне просыпалось то, что я держала в банках. Я держала в подвале свою тоску и не имела права её открыть при тебе. А твой смех открывал все склянки в

доме.

Прости меня. Смех был не виной. Смех был — свет, который ты приносил в этот дом, а я гасила его, потому что не могла смотреть на свет и не раскиснуть.

Твой смех оставайся. Я запрещаю тебе запрещать смеяться. Это материнская воля, она сильнее любого запретов, потому что мёртвые матери в этом мире сильнее живых правил.

И ещё. Если когда-нибудь в этом доме появится тот, кто будет петь, — не гаси. Открой все банки. Разбей их, если понадобится. Тьма — это не отсутствие света. Тьма — это свет, который никто не открыл.

Мама».

Он дочитал и не двигался. В подвале не падало ни пылинки — даже пыль понимала, что сейчас не её время. Потом Мортимер сложил письмо обратно — по сгибам, аккуратно, как складывают то, что будет перечитывать всю жизнь, — и сказал голосом, в котором не было ни грамма эфира:

— В подвал. Сначала в подвал.

— Зачем? — спросила Вера.

— Открывать банки, — сказал Мортимер Вечеров. — Все.

Прохор Второй сделал шаг к лестнице, остановился, вернулся и положил руку — костяную, в жилете, самую непопулярную руку в округе за последние четыреста лет — хозяину на плечо. Один раз. На две секунды.

— Я знал её почерк, — сказал он. — Я знал, что она сильная. Но я не знал, что она такая.

А Глафира стояла на крыльце и — призраки плачут без слёз, воздух вокруг них просто становится тяжелее — так тяжело дышала от счастья, что её носилась развязанная сумка. Из сумки выпал огрызок вечного яблока. Глафира его не подняла. Ей сорок лет было нечего перекусить — сорок лет она несла письмо. Теперь несла нечего. И была впервые за сорок лет абсолютно свободна.

— С тебя ломоть и обнимашки, — сказала она Вере, когда та догнала её на тропе вниз к деревне. — За хорошую новость. И за доставку — два каравая в неделю. Можете занести в договор.

— Глафира, а ты знала, что в письме?

— Знала с девятого года, — сказала лиса. — И знала, что его нельзя отдавать, пока некромант не будет готов. Письмо — это как тесто. Ему нужно время, чтобы подняться. Духи миры, — она осеклась, посмотрела на небо с двумя лунами, — в общем, ему нужно время, чтобы подняться. А подняться ему помогла ты. Печка.

— Просто печка?

— Просто печка, — сказала Глафира. — Ты приди ко мне в сумку, девочка, и замеси мне там тесто. Из него получится то, что я давно не могу: письмо. Моё последнее. Я хочу отправить его, пока ещё помню, как это делается. Ты обещала мне хлеб. А я тебе — обещание: доставлю его сама. Даже

если придётся идти через Гнилой брод.

— Договорились, — сказала Вера. — Хлеб — в пятницу. Письмо — как поднимется.

И где-то наверху, в башне, скрипнула дверь. Открывалась — со счастливым видом. А Прохор Второй, уже в этот вечер, вписывал в реестр новой почерком, ровным, как штык, и тихим, как выдох:

«Тридцатое мая. Открыты все банки.

Причина: письмо, сорок лет шедшее пешком.

Замечание: тьма — это не отсутствие света. Тьма — это свет, который никто не открыл. Прошу вырезать это на двери подвала, где было. Прошу занести в учебники. Прошу простить за три прошу подряд.

Занесено с любовью».

Глава 7. Деревня, которая не выходила из дома

о страхе, ставшем мебелью

Дорога вниз к Мироку занимала сорок минут пешком и сорок лет привычки — в смысле, привычки деревни держаться от башни подальше. Глафира шла впереди, хвостом вверх, очки для чтения сдвинуты на лоб.

— Запомни правила деревни, — говорила она деловым тоном. — Правило первое: о некроманте не спрашивают. Правило второе: о некроманте не говорят. Правило третье: если кто-то всё-таки сказал слово «некромант», все делают вид, что не слышали, и начинают громко обсуждать козу.

— А почему коза?

— Потому что коза — это нейтрально. Коза есть у всех. Коза объединяет.

Мирок открылся за поворотом: тридцать два дома, один колодец, один трактир с вывеской «У Бронте» и одна тишина такой плотности, что её, пожалуй, можно было нарезать ломтями и продавать соседям. Двери домов были закрыты. Не на замок — на застенчивость: щёлкнули ставни, шевельнулись занавески, в щелях мелькнули глаза. Деревня следила за гостьей всеми тридцатью двумя домами сразу и с коллективной дисциплиной хорового пения.

— Ясно, — сказала Вера. — План такой: идём в трактир. Я пеку на виду. Запах сделает остальное.

— Запах? — Глафира покачала головой. — Девочка, ты не понимаешь. Здесь сорок лет пахнет страхом. Страх — это тоже запах, просто безоружный его не чует. Ты сейчас войдёшь в трактир, и тебя пропечёт этим запахом до нёба.

— Ничего, — сказала Вера. — Я пекарь. Я вонючим тестом пролезала куда угодно. Страх пусть постоит в очереди.

Трактир Бронте был тёплый, низкий, с запахом мёда и копчёностей, и в момент, когда Вера вошла, он затих так резко, что стало слышно, как в бороде трактирщика шевелятся три мышки. Бронте — толстый, добрый, с бородой, в которой действительно жили три мыши и одна идея (мышей было видно, идею — нет) — поднял глаза от кружки и уронил кружку. Не разбил. Просто уронил, на мягкость, как уронил

бы всё в этой деревне, если бы можно.

— Она с холма, — прошептали в углу.

— С башни, — поправили из другого угла.

— Это одно и то же, — сказал первый угол.

— Это не одно и то же, — сказала Вера громко, чтобы слышали все тридцать два дома через дверь, которая, конечно, была открыта на укороченный палец. — Я — Вера Куликова. Я пекарь. Я живу у башни, потому что мне там дают кухню. Больше ничего с холмом не связано.

В углу, где сидела старуха — маленькая, прямая, с глазами цвета сушёной брусники и пальцами, которые вязали, не глядя, — поднялся шум. Не шум — шорох: вязание не остановилось.

— Я Матушка Канва, — сказала старуха. — Подойди сюда, девочка. Воровать не буду, проверять буду.

Вера подошла. Канва посмотрела на неё снизу вверх долго, оценивающе, как смотрят на тесто: подъёмное или нет.

— Пекарь, говоришь?

— Пекарь.

— А в башне кто, по-твоему, живёт?

— Некромант, — сказала Вера спокойно. — Который печёт хлеб по воскресеньям. Тайно. И боится зеркал.

Трактир затих окончательно. Даже мыши в бороде перестали шевелиться.

— Она спятила, — прошептал кто-то.

— Или не спятила, — сказала Канва и отложила вязание,

что, судя по реакциям, было эквивалентом пожара. — Садись, девочка. Расскажи, как ты падаешь с неба.

— Из духовки, — сказала Вера. — С повидлом.

И рассказала. Про Садовую, восемь. Про грозу и фиолетовый свет. Про то, как упала с табуретом и как табурет до сих пор стоит у неё на кухне в башне и никого не подпускает. Рассказывала она смешно — Вера умела рассказывать так, что за смехом не слышно страха, — и трактир понемногу оттаивал. Смеялись сначала краем рта, потом в полголоса, потом мальчишка с котом на плече рассмеялся в голос — и на него зашикали, и он замолчал, но глаза у него остались смеющимися.

— А почему вы его боитесь? — спросила Вера, когда чай был выпит и полкаравая Глафира уже понесла в сумке, как гвоздь программы.

Пауза была долгой. Глафира подала голос первой — тихо, укоризненно, себе:

— Сорок лет никто не отвечает на этот вопрос. Спрашивали — дважды. Оба раза устрашающе молчали.

— Мы не боимся его, — сказал наконец Бронте. — Мы боимся за него.

— Это разные страхи? — спросила Вера.

— Это один страх, — сказала Канва, — только повёрнутый внутрь. Понимаешь, девочка, у нас в деревне не принято лезть в чужое горе. Горе — это как колодец: смотреть можно, а перегнуться через край — считалось верхом неприличия.

А у него горе в глубине. Мы туда не заглядывали сорок лет. Стало быть, не видели, что там на дне. А то, чего не видишь, — всегда страшно. Мы боимся не его. Мы боимся дна.

— А что на дне?

— Мальчик, — сказала Канва тихо. — Он был маленький. Он смеялся на поляне. И все решили, что смеяться некроманту нельзя, что это к беде. А потом его мать не стало, отец ушёл, и башня закрылась. И все решили, что это мы прокляли. Хотя никто не проклинал. Мы просто... перестали приходить. Это хуже проклятия, девочка. Проклятие хотя бы произносят вслух.

В трактире стало так тихо, что мыши в бороде Бронте опять зашевелились — им было неловко за людей.

— Значит, никто не проклинал? — Вера поднялась. — Значит, там, на холме, сидит человек, которого все считают проклятым, а на самом деле его просто перестали звать в гости?

— Получается так, — сказала Канва.

— Тогда всё понятно, — сказала Вера и завязала фартук потуже. — Исправимо. Я пекарь, у меня для таких случаев есть противень, духовка и очень громкая привычка звать всех в гости. В воскресенье, дорогие мои, у башни будет хлеб. Приходите кто хочет. Кто не хочет — приходите, чтобы объяснить, почему не хотите, на месте.

— Некромант не позволит! — крикнул кто-то с улицы — очевидно, подслушивали, и явно давно, с самого начала раз-

говора.

— Некромант будет печь, — сказала Вера. — Ему некогда позволять.

Глава 8. Хлеб для деревни

о воскресенье, в которое сорок лет кончились

Готовиться начали в пятницу. В подвал башни привезли — точнее, притащил дракон Игнатий, по случаю оказавшийся поблизости и страшно довольный участием, — четыре мешка муки, два кувшина молока, горшок мёда от Бронте («С моего поля. С моей пчелы. Не благодарите, благодарите пчёл») и пакет соли, который Прохор Второй занёс в реестр с пометкой «Соль. Историческое значение: прорыв».

— Прорыв соли? — спросила Вера.

— Соли никогда не вносили в реестр. Пора начинать, — с достоинством ответил Прохор Второй.

Суббота ушла на опару. Вера работала одна — Мортимер держался поодаль и смотрел так, как смотрят люди перед экзаменом, которого они боятся больше собственной смерти, потому что смерть они уже видели.

— Тебя там не будет? — спросила Вера в полночь.

— Не будет.

— Прекрасно. Тогда я всё продумала. Утром поставишь у порога корзину. Просто корзину. С надписью «Хлеб для деревни, приходите, если голодны или любопытны — это одна

и та же вещь». Я уйду к деревне первой. А ты встанешь за дверью, возьмёшься за ручку и будешь стоять. Сколько сможешь.

— Я не умею открывать эту дверь, — сказал Мортимер очень тихо. — Я умею печь. У меня одна дверь и одна рука, и обе они за ржавчиной.

— Ржавчину с дверей снимают маслом, — сказала Вера. — С рук — теплом. У тебя в подвале есть и то и другое. Я проверяла.

Воскресенье выдалось тихим до звона. Вода в колодце Мирока лежала плоская, как зеркало, козы с утра не блеяли — чуяли, что сегодня будет что-то из области истории, и не хотели портить момент. На площади у колодца Вера развела огонь в переносной печи — печь притащил Игнатий («Дракон, который носит печь, — это не дракон, это подвижник», — сказала Глафира) — и поставила первую корзину.

Пахло так, что первые трое пришли раньше, чем хлеб поднялся. Просто стояли рядом и дышали.

К полудню на площади было человек тридцать. К часу — вся деревня, включая козу, которая пришла отдельно от хозяйки и села отдельно от всех, с независимой позиции.

— А некромант? — спросила Канва. Она сидела на скамейке, вязание отложила в сторону и смотрела на холм. — Он будет?

— Он стоит у двери, — сказала Глафира. Она стояла на пригорке и смотрела через далёкость — призраки умеют

смотреть так, что видно многое. — Стоит. Уже два часа. За дверью. Не открывает.

— Не может открыть? — спросила Вера.

— Не может открыть, — сказала Глафира. — Но и не уходит. Это уже кое-что.

И тогда Канва сделала то, чего не делала в деревне никогда: она встала, отряхнула юбку и пошла вверх по холму. Молча. И за ней — сперва один, потом трое, потом вся деревня, за исключением козы, которая осталась сторожить печь (доглядела: никто не украл ни пирожка).

Тридцать два человека поднялись по тропе к башне. Тридцать два человека встали перед дверью, за которой сорок лет жил человек, которого они сорок лет не звали в гости.

— Вечеров! — крикнула Канва, и голос у неё был из тех, что поднимают крыши и рождают закон. — Открывай! У нас к тебе дело! Мы хотим посмотреть, как печёт некромант! Если ты против — скажи вслух, а не молчи за засовом, молчание за засовом — это подлость!

С той стороны двери ничего не было слышно. Потом послышался шум — короткий, будто кто-то ронял что-то тяжёлое и не стал поднимать. Потом — засов. Он снялся. Скрипнул. И дверь открылась.

Мортимер Вечеров стоял на пороге башни, в чёрном, бледный, с забинтованными руками (сорок лет не держал этот засов — ржавчина сняла кожу) — и смотрел на деревню.

— Я не знаю, что говорить, — сказал он. Голос сорвался

на «не».

— Не говори, — сказала Канва. — Говорить умеем мы. Ты просто слушай, тебе полезно. — И она пошла по кругу, по порядку, показывая рукой на каждого: — Это мы. Те, кто не приходил сорок лет. Это не ты был проклят, Вечеров. Это мы проклялись — страхом, что хуже. И мы пришли снять его. Вазкой соли, извинением и, если ты позволишь, — куском твоего хлеба. Дай нам хлеб. Это приказ от деревни, не от тьмы.

Мортимер стоял ещё секунду — та секунда, из которой выходят либо обратно в дом, либо в жизнь, — и шагнул через порог. Первый раз за сорок лет — наружу.

Прохор Второй, стоявший за его спиной, обмакнул перо в чернильницу с полынью и написал — без единой помарки, рука наконец не дрожала:

«Двадцать девятое число неизвестного месяца. Хозяин вышел наружу. Дверь башни осталась открытой. Я не стал её закрывать и не буду.

Рекомендация: снять с двери табличку „Вход воспрещён". Вместо неё повесить новую: „Вход воспрещён только для жалоб. Для всех остальных — есть пирожки".

Занесено с любовью и с болью в костяшках, о которой не пожалею ни секунды».

К вечеру площадь Мирока гудела. Ели, спорили, вспоминали, смеялись. Коза так и не ушла со своего поста. А Мортимер сидел у огня, держал в руках кружку с мёдом от Брон-

те — впервые за сорок лет держал то, что ему дали, не зная, как отказаться, — и смотрел на деревню, которая смеялась рядом с ним.

— Ты чего молчишь? — спросила Вера, подсаживаясь.

— Учу слова, — сказал Мортимер. — Я выучил одно: «спасибо». Хочу сказать его правильно. В моей семье это слово не говорили. Думаю, что говорю неправильно уже сорок раз за вечер.

— Зато сорок раз подряд, — сказала Вера. — Это называется тренировка. К слову, как и к тесту: чем чаще берёшь в руки, тем живее.

И он сказал «спасибо» сорок первый раз. Правильно.

Глава 9. Правда о проклятии

о дневниках, которые не читают по ночам, и о том, кто всё-таки читает

Проклятия, как известно всем, кто имел с ними дело, не подают голос при свидетелях. Они сидят в человеке тихо, как мокрое полотенце в чемодане: вроде ничего, а всё вокруг отсыревает.

Поэтому Вера пошла искать проклятие Мортимера не к нему — а к архиву. К Прохору Второму, к его четырнадцати томам, из которых одиннадцать были про погоду и три — про хозяина.

— Мне нужны дневники хозяина, — сказала Вера.

— Категорически нельзя, — сказал Прохор Второй так

твёрдо, что у него подрагивала челюсть, что у скелета, согласитесь, профессиональная высота. — Тайна исповеди. Тайна архива. Тайна сорока лет.

— А если я скажу, что мне не для сплетен, а для спасения?

— Это все говорят.

— А если я скажу, что хвалю твои скулы ещё раз?

Прошла пауза, во время которой скелет, вероятно, сверялся с внутренним реестром приоритетов.

— Берите том седьмой и том восьмой, — сказал он с достоинством обиженной канцелярии. — И занесите в историю, что скелет поддался на лесть со второй попытки, а не с первой. Первая попытка была в тысячу четыреста двенадцатом году. Лестью тогда была фраза «вы сложены как учебник анатомии». Это был Мортимер, ему было девять. Я до сих пор считаю это лучшим комплиментом за четыреста лет. Держите ключ.

Дневники начинались с юности. Почерк в них менялся — сначала крупный, самодовольный, ученический; потом всё мельче, всё тише, как будто писал человек, который с каждым годом надеялся, что его никто не прочтёт.

Вера читала при свече, завернувшись в бледно-зелёную занавеску (вторую половину рулона так и не докупили, и она носила её как плащ, потому что в Ирмалионе мода — понятие относительное).

«Мне девятнадцать. Академия дала мне отличную отметку и обруч из чёрного золота. Обруч — это то, что вы-

дают некромантам вместо слов "мы вами гордимся", потому что слов они не придумали.

Сегодня я впервые улыбнулся человеку на рынке. Женщине с яблоками. Я думал: улыбнусь — и она улыбнётся в ответ, и это будет хорошо. Я улыбнулся. Лицо сделало то, что оно делает: стало чужим. Она уронила яблоки. Яблок покатилось двадцать три, и все они покатились от меня, как будто даже яблоки умеют читать про меня книжки.

Я подобрал все двадцать три. Женщина не вернулась за ними до заката».

Вера вытерла глаза фартуком. Фартук к тому моменту был пропитан мукой, слезами и историей, и уже мало что различал.

«Мать умерла, когда мне было девять. Мне двадцать пять. Прохор говорит: надо выйти к людям. Я вышел. Люди увидели. На следующий день деревня пришла к башне — не с хлебом. С лопатами. Они копали ров. Не для защиты от меня. Для защиты от моего лица. Ров выкопали за три дня. Я приносил им воду, потому что было жарко. Они не брали. Ров засыпали через неделю — сама мать (не моя, река) вышла из берегов и залила. Все решили, что это я. Хорошо хоть, что река умеет писать... хотя нет, не умеет. Не умею и я. Я вообще не умею главное: я не умею быть красивым для людей. Хотя со стороны, говорят, всё наоборот. В зеркалах — наоборот».

«Мне тридцать. Проклятие назвалось. Его назвали не

люди — его назвал я. Однажды я попытался улыбнуться в зеркало и попросил: "Пусть они увидят меня, как я есть". Зеркало ответило: "Ты есть — как тебя видят". И с тех пор, когда я пытаюсь улыбнуться кому-то живому, лицо каменеет, и все бегут. Это называется "Плащ Признания". Это проклятие честности: оно показывает людям не то, что я чувствую, а то, чего они во мне боятся. Я снимаю его, когда печу. Печь не боится. Печь видит меня, как я есть. Печь видит меня каждый воскресный день».

Вера закрыла дневник и очень долго сидела молча. Потом встала, подошла к окну и посмотрела на две луны.

— Печь видит меня, как я есть, — повторила она вслух. — А я — пекарь. Значит, я — человек-печь. Я даже не знала, что у меня такое призвание.

И тут она поняла, что стоит у окна, завернувшись в занавеску, разговаривает с лунами и планирует спасение некроманта, — и что впервые за три года ей не скучно. Вообще нисколько. Даже тошноты от волнения не было — только лёгкий голод, как перед самой вкусной работой.

Проклятие, стало быть, было не в лице. Проклятие было в зеркале, в которое он не смотрел. А снимаются зеркала только одним способом: кто-то должен посмотреть на него так, как смотрит печь. То есть — так, как никто в его жизни не смотрел. С теплом. И с наглостью.

А наглость у Веры была врождённая, как тесто у бабушки: без дрожжей, зато всегда под рукой.

Прохор Второй, между прочим, всё это знал с самого начала. И записал в реестре в ту ночь, когда отдавал дневники, короткую строчку, которую потом перечитывал много раз:

«Отдал тома. Сознаюсь честно: не потому, что лесть подействовала. А потому, что сорок лет я единственный знал, в чём беда хозяина, и сорок лет никто не спрашивал. Она спросила. Спрашивать — это уже половина спасения. Вторая половина — испечь. Занесено с надеждой, которой я не держал в банках, потому что она живая».

Глава 10. Холм с двумя лунами

о последнем испытании и о том, как снимают проклятия честности

Вера выбрала холм за деревней — тот самый, где когда-то смеялся мальчик в крапиву. Холм был высокий, тихий, и на его вершине стоял валун, отполированный ветром до блеска. С него открывался вид: внизу — Мирок, тридцать два дома, колодец, трактир; за деревней — башня, чёрная, с окнами-совами; над всем этим — небо цвета спелой сливы и две луны, белая и зелёная.

Вера пришла первой. Разложила на камне: плед (из тех же занавесок — вторая половина рулона наконец нашла своё призвание), термос с чаем, блюдо пирожков с повидлом (десять штук — «десять — это всегда правильное количество», говорила бабушка) и один маленький столовый прибор, о ко-

тором ниже.

Мортимер пришёл позже — он всегда приходил, как приходят люди, которые не привыкли, что их зовут, и всё равно идут. По тропе, не по дороге. В чёрном. С лицом, которое старалось быть скалой и почти справлялось.

— Ты звала меня, — сказал он. Не спросил.

— Звала. Садись. Смотри.

— На что?

— На луны. Белая — это моя. Зелёная — твоя. Я сегодня распределяла небо. Оно мне понравилось, я решила поделить.

— Небо нельзя делить.

— Можно. Небо — это как большой каравай. Все делят, никто не обижается. — Она налила ему чая. — Садись. У меня к тебе разговор на три вопроса.

— Я не люблю три вопроса.

— Первый вопрос лёгкий. Почему ты печёшь по воскресеньям?

Мортимер посмотрел на луны. Помолчал. Потом заговорил — медленно, как говорят то, что хранили слишком долго и от этого забыли, как это произносится.

— Потому что хлеб не боится моего лица. Печь не боится. Тесто не боится. Это единственные мои соседи, которым я не страшен. И пока дом пахнет хлебом, я могу притворяться, что живу. А притворяться — это уже почти жить. Сорок лет я жил на этом «почти».

— Второй вопрос. Ты когда-нибудь улыбался людям?

— Один раз. Мне было девятнадцать. Женщина уронила яблоки. Двадцать три штуки. Я подобрал все двадцать три, и она не вернулась за ними до заката. — Он сказал это ровно, как читают сводку погоды. — После этого я перестал улыбаться. Это экономнее.

— Третий вопрос. И он не лёгкий. — Вера повернулась к нему. — Почему ты до сих пор меня отталкиваешь? Мы живём под одной крышей два месяца. Ты смотрел на меня, когда я не видела. Ты зеваешь мне вслед и называете это эфиром. Ты поправляешь занавеску двумя пальцами. И ты до сих пор держишь со мной дистанцию, как с порогом Гнилого брода. Почему?

Мортимер встал. Прошёлся по холму — три шага туда, три шага обратно, как ходят люди перед решением, которое они боятся принять сорок лет.

— Потому что если я подойду ближе, — сказал он наконец, — ты увидишь то, что видели все. И убежишь. И тогда я останусь не просто один — я останусь однажды отвергнутый тобой. А это хуже, чем сорок лет одиночества, потому что сорок лет я мог надеяться. Надежда — это та банка на верхней полке, которую я не открывал. Её нельзя открыть дважды. Если она скиснет — всё.

— Значит, — сказала Вера, — вместо того чтобы рискнуть один раз и быть счастливым, ты сорок лет держишь банку закрытой и несчастным?

— Это звучит глупо, когда ты это говоришь вслух.

— Оно и есть глупо. Я вообще-то пекарь, а не философ, но, по-моему, тут и философ не нужен. — Она достала с камня ту самую маленькую столовую принадлежность. Это было зеркало. Маленькое, карманное, в медовой оправе. — Прохор дал. Сказал: «Это зеркало из кладовой. Оно из тех, что хозяин не разбил только потому, что оно слишком маленькое, чтобы быть страшным».

Мортимер отшатнулся.

— Не надо.

— Надо. — Она не подошла. Не тянула к нему. Она сделала другое: положила зеркало на плед и села рядом с ним, бок о бок, глядя на луны. — Смотри не в зеркало. Смотри на луны. А я буду смотреть на тебя и говорить вслух, что я вижу. Хочешь?

— …Хочу, — сказал он так тихо, что ветер почти не расслышал.

— Я вижу мужчину, который сорок лет пёк хлеб для людей, которые в него не верили. Я вижу человека, который подобрал двадцать три яблока и не бросил ни одного. Я вижу того, кто держал меня за руку в подвале, когда баночка с надеждой просилась наружу, и не позволил ей упасть. Я вижу некроманта, который вернул мёртвым голос, а живым — хлеб. Я вижу человека с самой некрасивой, то есть самой красивой улыбкой, которую я никогда не видела, потому что ты её прячешь, как чек в чужой шубе. И я вижу, что лицо у

тебя не страшное. Оно просто устало.

— Это не так, — сказал Мортимер, но голос его дрогнул. — Ты не видела, как я улыбаюсь. Ты увидишь, и...

— Увидишь — и что?

— И убежишь.

— Я не бегаю, — сказала Вера. — Я — пекарь. Я стою на ногах по двенадцать часов. Бегаю только за кошкой, а кошка здесь не приносилась.

— Ты не понимаешь. Проклятие. Оно работает, когда я пытаюсь улыбнуться. Лицо каменеет. Люди бегут.

— Проклятие работает, — сказала Вера, — потому что ты в него веришь. А теперь слушай моё правило, некромант. У нас в пекарне было правило: если хлеб не поднимается — виноваты не дрожжи. Виноваты руки, которые боятся тесто. Тесто чувствует страх. И лицо — тоже тесто. Проклятие — это страх, замешанный в тебя чужими руками. А теперь бери свои.

Мортимер посмотрел на неё. Потом на зеркало. Потом снова на неё.

— А если лицо каменеет? — спросил он.

— Пусть каменеет. Я работаю с камнем каждый день: у меня в пекарне подоконник каменный. Он никогда не мешал мне печь.

И тогда Мортимер Вечеров сделал то, чего не делал сорок лет. Он повернулся к Вере — прямо, лицом к лицу, как поворачиваются к солнцу те, кто всю жизнь грелся спиной. Он

попытался улыбнуться.

Лицо дрогнуло. Задрожало. Каменело — раз, второй. И на третий раз — вдруг — отпустило. Не как отпускает проклятие (с громом, треском и панихидой). Оно отпустило тихо, как отпускает плечо рука, которая наконец поняла, что держать больше не за что.

Мортимер улыбнулся. По-настоящему. Криво, неловко, с испугом на собственном лице, как человек, у которого во сне выросли крылья и он проснулся, а крылья остались.

И Вера не убежала.

Она засмеялась. Смеялась она так, что две луны над холмом, кажется, чуть покачнулись от любопытства. Потом она взяла его за лицо — обеими руками, тёплыми от теста и от чая, — и поцеловала. Поцеловала так, как целуют, когда знают, что с этого поцелуя начнётся всё остальное: свадьба, пекарня, драконы, скелеты, призраки и пирожки, которыми можно победить любую тьму.

А в этот момент на самом дне холма, в той самой поляне, где когда-то смеялся мальчик в крапиву, зашевелилась трава. Не от ветра. Проклятие, «Плащ Признания», упало с него — как старая мантия с плеч, которую наконец-то можно снять. Оно легло на траву, полежало минуту, вздохнуло и рассыпалось на пыль. Прошла секунда — и пыль уже не отличалась от пыли любой другой, потому что проклятия, когда их снимают любовью, не оставляют следов. Они уходят, как уходит запах свежего хлеба из остывшей пекарни: не ис-

чезая, а становясь воспоминанием, которое потом греет.

Мортимер отстранился. Смотрел на Веру так, как смотрят люди, впервые увидевшие своё отражение не в зеркале.

— Это правда? — спросил он. — Что лицо отпустило?

— Правда.

— А как ты это сделала?

— Никак. Это сделал ты. Я просто стояла рядом и не убегала. — Она пожала плечами. — Иногда, чтобы спасти человека, не нужно быть некромантом. Иногда нужно быть рядом и держать термос.

Прохор Второй, который (не спрашивайте, как) всё это время стоял за валуном с реестром и подглядывал, потому что он был свидетель, а свидетель обязан быть на месте события, — открыл реестр. Перо дрожало. Он написал:

«День неизвестной даты. Хозяин улыбнулся. Полностью. Без оговорок. Лицо его — это лицо, которое оно есть. Проклятие упало. Причина: гостья посмотрела на него и не убежала.

Занесено с гордостью, со слезами (не имеющимися) и с формулировкой, которую я репетировал сорок лет и которая, конечно, вышла простой: „Хозяин больше не один“.

Внесено в реестр в первый раз за сорок лет — как факт, а не как надежда».

Внизу, в деревне, Матушка Канва подняла голову от вязания — она всегда чувствовала, когда на холме случается история. Она посмотрела на две луны, сказала «хм» с той ин-

тонацией, с которой деревенские старухи говорят «хм», когда всё поняли раньше всех, — и связала за ночь пару носков. Не для себя.

Для свадьбы.

Глава 11. Свадьба с сюрпризом

о том, как поженились некромант и пекарь, и кто плакал сильнее всех

Свадьбу решили играть на холме с двумя лунами — там, где упало проклятие. Матушка Канва возглавила подготовительный комитет (комитет состоял из неё), Бронте привёз бочку мёда («Половину за счёт заведения. Вторую половину тоже за счёт заведения, потому что жадничать на свадьбе — к засухе»), а Прохор Второй взял на себя обязанности, которые он сам себе определил за две бессонные (в смысле, бессонные вдвойне) ночи: нотариус, регистратор, фотограф, распорядитель и хранитель сметы.

Смета была такая: мука — есть. Мёд — есть. Скалка — есть. Плакать — обязательно.

— Плакать? — спросила Вера.

— Плакать, — подтвердил Прохор Второй. — У меня в реестре зафиксировано сорок лет без свадеб на этом холме. Событие должно быть полного формата. Формат включает слёзы. Ваши, моё почтение. У меня, к сожалению, не имеется.

Гости съехались к закату, когда обе луны уже висели на своих местах и явно собирались задержаться. Пришёл дра-

кон Игнатий — с подарком, который он носил перед собой бережно, как блюдце с водой в доме, где всё стеклянное. Подарком был золотой зуб. Его собственный.

— Это не подарок из жадности, — пояснил дракон, когда все замолчали от изумления. — Это подарок из дружбы. Драконы дарят золото. Я золота полно, а вот лишних зубов у меня ровно три, и я дарю тебе, пекарь, лучший. Если будешь печь что-то очень твёрдое — например, корочку, за которую зацепится зуб неосторожного дракона, — ты теперь сможешь. Символически.

— Это самый странный подарок в моей жизни, — сказала Вера.

— А ты много подарков видела из мира, где дарят табуреты? — заметил Игнатий с достоинством.

В подарок вдобавок положили: пирог от Канвы (с брусникой и, как выяснилось позже, с запиской внутри «соль кладут раньше муки, девочка, помни»), мёд от Бронте, носки от Канвы (вязаные, для некроманта — «чтобы ноги были тёплые, а то слышала я, ты сорок лет в холодных»), кочергу от лорда Пепела («Принимай в дар мою вторую кочергу. Первая — посох, вторая — сердце. То есть посох вторая. В общем, бери»). Глафира подарила письмо — пустое, с одной строкой: «Это моё лучшее письмо. Оно о тебе». А Ыш принёс пыль.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.